



Мордовский поселок как место и сообщество исторической памяти: коллективные нарративы и репрезентации

Ольга Анатольевна Богатова

*Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва,
Саранск, Россия*

Анастасия Владимировна Митрофанова

*Институт социологии Федерального научно-исследовательского
социологического центра РАН,
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,
Москва, Россия*

Светлана Владимировна Рязанова

*Пермский федеральный исследовательский центр
Уральского отделения РАН,
Пермь, Россия*

Введение. В статье обобщаются результаты исследования социальных практик и нарративов народной коммеморации жертв массовых политических репрессий в п. Круглом Zubovo-Полянского района Республики Мордовия, основанном в качестве постоянного поселения в период коллективизации.

Материалы и методы. Теоретической базой исследования послужили социальные теории «мест памяти» и коллективных травм. Методика сбора эмпирических данных соответствовала дизайну кейс-стади, включая наблюдение, глубинные интервью и анализ содержания публикаций в средствах массовой информации. Данные анализировались методами насыщенного этнографического описания и нарративного дискурс-анализа.

Результаты исследования и их обсуждение. В статье описываются социальный контекст локальной коммеморации, выявляются основные этапы и практики создания «места памяти» в поселке в виде сооружения самодельного памятника из мореного дуба с мемориальной табличкой и его последующей медиатизации. Анализируются местные дискурсы и нарративы социальной памяти и материальные аспекты коммеморации, идентифицируются региональные, российские и международные мнемонические акторы, выступающие в качестве агентов процесса культурной травмы. Выявляется и интерпретируется содержание конкурирующих нарративов виктимизации и девиктимизации местного сообщества.

Заключение. На основе данных полевого исследования деконструируются медийные нарративы истории поселка, выявляются две различные модели ее описания, делается вывод об их обусловленности различными моделями коммеморации социальной травмы – «терапевтической», сфокусированной на аспектах лишений и утраты групповой идентичности, и «макроисторической», базирующейся на интерпретации травмы как аспекта социальных трансформаций, процесс которых содержит предпосылки для ее «проработки».

Ключевые слова: «место памяти», историческая память, социальная травма, культурная травма, насыщенное описание, социальная память, коммеморация, «сообщество памяти»

Для цитирования: Богатова О. А., Митрофанова А. В., Рязанова С. В. Мордовский поселок как место и сообщество исторической памяти: коллективные нарративы и репрезентации // Финно-угорский мир. 2022. Т. 14, № 4. С. 402–417. DOI: 10.15507/2076-2577.014.2022.04.402-417.

Введение

Предмет исследования составляют социальные практики и нарративы коммеморации жертв массовых политических репрессий в Республике Мордовия на примере народного мемориала в п. Круглом. Главный тезис, который авторы обосновывают

в данной статье, заключается в вариативности нарративов и интерпретаций событий, ставших объектом коммеморации, транслируемых как местными спикерами, так и массмедийными мнемоническими акторами за пределами местного сообщества.

В исследовании ставилась цель установления смыслов публичной коммеморации жертв массовых политических репрессий посредством «насыщенного описания» связанных с ней объектов, нарративов и практик. К числу задач относились характеристика социального контекста коммеморации, включая важнейшие события истории поселка, основанного раскулаченными крестьянами в период коллективизации, выявление заинтересованных локальных, российских и международных мнемонических акторов и их мотивов, реконструкция местных нарративов социальной памяти, описание культурных репрезентаций и материальных аспектов коммеморации.

Объектом исследования был избран поселок в Zubovo-Polyanskom районе Мордовии, основанный в качестве постоянного поселения крестьянами из соседнего села Журавкино на рубеже 1920–1930-х гг. и благодаря средствам массовой информации получивший широкую известность в качестве «места памяти» и «сообщества памяти». Последнее в настоящее время включает как немногих постоянных жителей, так и уроженцев поселка, проживающих в других регионах, и их потомков.

Обзор литературы

Актуальность темы статьи обусловлена возросшим интересом российского научного сообщества к проблемам коллективной памяти. Современные исследования социальной памяти (*memory studies*) носят междисциплинарный характер, так как, по определению А. И. Завадского, их предметом является не столько само прошлое, сколько отношение к нему индивидов и групп в настоящее время [4, 337]. Парадигмальная для *memory studies* социологическая концепция М. Хальбвакса исходит из тезиса о существовании «рамок коллективной памяти, на которые опирается память индивидуальная» [12, 327]. При этом данные рамки характеризуются как совокупность коллективных представлений, идей, писанных и неписанных правил и оценок, при помощи которых общество или группа интерпретируют исторические события, определяя их

значимость для своих членов, а также необходимость их запоминания или забвения, формируя социально одобряемые схемы исторического повествования, нарративы истории сообщества как «социокультурные инструменты коллективной памяти» [10, 77].

Впоследствии указанная концепция была дополнена французским историком П. Нора, обосновавшим значимость для конструирования коллективных воспоминаний социально признанных «мест памяти» – институтов и объектов, служащих для хранения и трансляции информации о прошлом, включая монументы, книги по истории, музеи, архивы и т. д., и являющихся «инструментами памяти в истории» [8, 43]. Вклад в развитие исследований социальной памяти внесли также концепции социальной травмы и «контрпамяти», под которой понимается «память оппозиционная, враждебная господствующей коллективной памяти, обладающая подрывным потенциалом» [6, 87; 18, 187]. Содержание «контрпамяти», по определению Я. Зерубавель, составляет «отличный от господствующей общей повествовательной конструкции нарратив, отражающий взгляды лиц, вытесненных на обочину общества» [6, 87].

Создание контрнарративов коллективной памяти связано с конструированием культурной травмы, которую Р. Айерман определяет как дискурс манифестации коллективного страдания через его публичную артикуляцию и репрезентацию, опосредовано факторами признания и «борьбы за смысл» [22, 679–680]. Данное событие отождествляется с социальным кризисом или «травматизирующим инцидентом», если оно пагубно повлияло на коллективную идентичность пострадавшей группы [1, 17] или необратимым образом изменило ее [1, 6]. При этом конструирование культурной травмы зависит от наличия у травмированной группы ресурсов для ее осознания и социально приемлемого описания, вследствие чего инициируется через определенный временной интервал после травматизирующих событий, а при отсутствии необходимых ресурсов или групповых

установок может не осуществиться вообще [9, 61; 22, 680].

Исследователи различают травмирующие события, послужившие источником страданий, и коллективную травму как феномен, опосредованный социальной памятью и дискурсом. При этом коллективная травма (социальная или культурная), в отличие от индивидуальной психологической травмы, рассматривается как социальный конструкт, включающий описание и интерпретацию травмирующего события в общественном мнении и его репрезентации в культуре сообщества [7; 21]. Например, П. Штомпка определяет «травму социальных изменений» как непосредственную реакцию коллективного сознания на радикальные социальные изменения, характеризующаяся интересубъективным «производством значений» – слухов, мифов и иных коллективных нарративов, которое, по его мнению, отличает коллективную травму от индивидуальной [20, 160]. Культурная травма способствует формированию «мнемонических сообществ», которые создают собственные «места памяти» и нарративы, трансформирующие травму и заново связывающие прошлое и будущее [21, 548; 23, 302; 26, 112].

Актуальность исследований социальной памяти и коллективных травм обуславливается глобальной тенденцией к «реполитизации истории», появлению социального запроса на конструирование образов «практического прошлого» (usable past) и актуальной мемориальной культуры на основе коммуникативной, коллективной и культурной (медиатизированной) исторической памяти [2, 215–216]. Как отмечает Б. Бевернаж, от историков в современном мире ожидают участия в «проработке» социальных травм в форме экспертизы и формирования нарративов прошлого, которые способствовали бы общественному согласию [15; 17, 232]. С другой точки зрения, современное историческое знание испытывает влияние неакадемических режимов производства знания о прошлом, характерных для институтов политического урегулирования конфликтов и «переходного правосудия» [16].

В связи с этим значимым направлением memory studies является исследование памяти самих травмированных групп, а также деятельности различных мнемонических акторов, которые занимаются меморизацией групповой истории, создавая репрезентации, нарративы и «места памяти», способствующие «проработке» коллективной травмы посредством ее историзации. Данным проблемам посвящены труды Н. Акагавы, П. Гободо-Мадикизелы, Дж. Олика, К. Симко, А. Эррл и других исследователей [9; 11, 7; 21; 23; 26; 28; 29]. В частности, изучением увековечивания памяти жертв массовых политических репрессий на постсоветском пространстве и в бывших социалистических странах занимаются З. Богумил, Д. Колева, И. Нарский, Д. О. Хлевнюк, Г. Б. Юдин и др. [14; 18; 19; 24; 25; 27].

К числу актуальных проблем исследований социальной травмы относятся дискуссионные аспекты социальной «проработки» травматического прошлого, с одной стороны, предвосхищенные выводами М. Хальбвакса о динамике коллективной памяти как постоянной «реконструкции» прошлого путем «переработки» коллективных воспоминаний с целью устранения «всего, что могло бы разделять индивидов, отдалять друг от друга группы» [12, 337], а с другой – основанные на аналогии между индивидуальным посттравматическим расстройством и коллективной травмой, нуждающейся в терапии [29], чтобы «восстановить коллективное психологическое здоровье, устранив социальное вытеснение и вернув память... посредством публичных действий» и культурных репрезентаций травмы [1, 14].

В предметном поле современных российских исследований социальной памяти именно с обсуждением коллективной травмы сталинских репрессий связана актуализация проблемы «контрпамяти». При этом некоторые авторы определяют «вторую память» как «память о тех судьбах, которые не ложатся в нарратив государства-триумфатора, – о национальных меньшинствах, о жертвах репрессий и гражданских конфликтов» [14, 29], в рамках обобщенной оппозиции государства

Результаты исследования и их обсуждение

и гражданского общества. Ряд исследователей, критикуя характерную для этой концепции предпосылку о гражданском обществе как гомогенном мнемоническом субъекте, подчеркивают множественность и партикуляризм негосударственных групповых нарративов коллективной памяти [13, 34–35].

Материалы и методы

Методологической базой исследования послужили теории «мест памяти» и культурной травмы как социального конструкта, формируемого заинтересованными мнемоническими акторами в процессе публичного социально санкционированного определения от имени травмированного сообщества природы травмы, ее причин и способов устранения, обязательного распределения ролей жертв, виновников и спикеров травмы [1, 22–23]. Методика сбора эмпирических данных соответствовала дизайну кейс-стади, включая наблюдение, глубинные интервью и анализ содержания публикаций в средствах массовой информации. Данные анализировались методами насыщенного этнографического описания на основе интерпретации нарративов социальных субъектов, в которых они, в свою очередь, интерпретируют собственный опыт [5, 182], а также нарративного дискурс-анализа, базирующегося на принципах интертекстуальности и социального структурирования медийных дискурсов [3, 28, 199].

Источником эмпирических данных послужило полевое наблюдение, предпринятое авторами в ходе экспедиции в Круглый в июле 2021 г. Поселок находится на расстоянии 28 км от районного центра – р. п. Зубова Поляна и в настоящее время входит в Дубительское сельское поселение. Во время Всероссийской переписи населения 2010 г. постоянное население поселка состояло из 7 чел., к моменту исследования оно уменьшилось. Еще несколько семей проживают там летом.

Особенностью Круглого является его относительно труднодоступное местоположение. От других населенных пунктов он отделен лесным массивом и рекой Вад, в период его основания глубокой и полноводной. Эта живописная местность удобна для пчеловодства, охоты, отдыха и экологического туризма. Местонахождение поселка, впоследствии получившего официальный статус и название, заменившее народное «Дикий поселок», не было тайной для представителей советской власти, однако затрудняло контроль над его жителями и позволяло им легально заниматься несельскохозяйственной деятельностью.

Выбор объекта исследования объяснял его медийной популяризацией в печатных и электронных СМИ, начиная с первой половины 2000-х гг. и по настоящее время¹.

Основное содержание медийного нарратива сводится к тому, что в память об основателях поселка – раскулаченных в период коллективизации крестьянах – жители установили памятник жертвам массовых политических репрессий, соорудив его из поднятого со дна Вада ствола мореного дуба, перевернутого вверх корнями: «Руководил установкой памятника племянник местного дезертира по кличке Глаз, который давно живет в Москве и считается авторитетом в бандитских кругах. ...Общими силами восьмиметровое дерево вытащили из воды. Потом мужики вырыли глубокую яму, куда и вкопали ствол, а корневище направили вверх, к небу»². Этот памятник символизирует трагедию российского крестьянства, вырванного из традиционного образа жизни.

В 2003 г. представительница второго поколения жителей поселка Валентина Фокина, ко времени экспедиции уже скончавшаяся, рассказывала корреспонденту

¹ См., например: Деревня дезертиров // Известия. 2003. 4 нояб. URL: <https://iz.ru/news/283460> (дата обращения: 08.08.2022); Карпов В. Дикая деревня // Труд. 2004. 22 июля. URL: https://www.trud.ru/article/22-07-2004/74729_dikaja_derevnja.html (дата обращения: 08.08.2022); Косова Е. Дикий бунт: деревня, в которой прятались от советской власти // РИА Новости. 08.11.2012. URL: <https://ria.ru/20121108/910074652.html> (дата обращения: 08.08.2022).

² Деревня дезертиров. URL: <https://iz.ru/news/283460> (дата обращения 08.08.2022).



Рисунок. Памятник в п. Круглом (личный архив авторов)

Figure. Monument in the Krugly village (personal archive of the authors)

«Известий», что памятник стал центром стихийной коммеморации жертв массовых репрессий: «...все наши дети да внуки приезжают. Человек сто в июле собирается на землю родную. Это традиция такая. Кто из Питера, кто из Москвы, кто из Бугульмы, из Владимира много тоже. У дуба мореного всю ночь костры горят. Сидим да поминаем наших родителей». Представители местной власти в Zubovo-Polyanskom районе, по словам журналиста, негативно оценивали такие практики и пытались уничтожить памятник в «андроповские» времена, а в постсоветский период отзывались о жителях поселка с предубеждением: «...и предки у них звери, и потомки – бандиты»³.

Участники экспедиции обратились к местному жителю с просьбой рассказать об истории поселка и памятнике. Он согласился, представившись зятем одного из основателей поселения. По словам информанта, поселок возник на месте дореволюционного лесного кордона по инициативе Ивана Зверева, работавшего на Московско-Самарской железной дороге, одна из станций которой находится в Zubovoy

Поляне. Зверев накопил значительное по местным стандартам состояние во время Первой мировой войны и перебрался в лес, стремясь его сохранить:

– Он для железнодорожного начальства менял бумажные деньги на золотые червонцы. Они мудрые же были, они почувствовали, что надо делать ноги отсюда. ...Тут вот со стороны поля одни болота были. Их в 1970-х годах осушили.

Зверев и еще несколько семей основали поселение. Формально его жителям пришлось вступить в колхоз, но основными источниками средств к существованию для них служили пчеловодство и неформальные услуги по организации отдыха в лесу советским руководителям и деятелям культуры.

Отношения с советской властью у жителей поселка и соседних поселений носили мирный характер («...никаких конфликтов не было. Нормальные люди везде жили»). Однако ситуация изменилась во время войны, когда в окрестных лесах стали скрываться преступные группировки, состоявшие из уроженцев других сел, членов которых удалось арестовать в 1947 г.:

³ Деревня дезертиров. URL: <https://iz.ru/news/283460> (дата обращения: 08.08.2022).

– Ну, был знаменитый Фура, который тоже во время войны здесь... Мордополянский дезертир был, бандитничал тут до 1947 года. Да, Фура, чуть подальше Панкратов и братья Ждакаевы были.

Позднее участница экспедиции из числа уроженцев Zubovo-Полянского района рассказала, что в поимке членов банды Фуры принимал участие ее дед, происходивший из семьи раскулаченных и работавший лесником.

В последующие десятилетия жители поселка полностью интегрировались в советское общество, большая их часть переехала в другие регионы или другие населенные пункты района.

Упомянутый в публикациях федеральных СМИ памятник из ствола мореного дуба располагается между домами и берегом реки и представляет собой перевернутый вверх корнями и вкопанный в землю дубовый пень высотой примерно один метр. На стороне пня, противоположной берегу и обращенной к въезду в село, прикреплен болтами табличка из нержавеющей стали с надписью «Репрессированным родителям – благодарные потомки». На корневой части пня установлен макет станкового пулемета со щитком. На момент экспедиции следы кострищ на поляне отсутствовали. Респондент не упомянул каких-либо собраний и символических акций возле памятника с участием жителей поселка или их детей и внуков, которые сменили место жительства и приезжают в поселок на отдых. Металлический макет пулемета, по его словам, представляет собой игрушку, сделанную местным умельцем в начале 2010-х гг. и подаренную односельчанину:

– Он стоял у моего шурина дома во дворе. Мой шурин потом сюда его привез. Надел он во дворе ему.

По поводу памятника респондент сообщил, что ствол мореного дуба местные жители решили вытащить со дна реки в 1988 г. и продать в качестве ценной древесины. Перед продажей они отпилили прикорневую часть дерева, оставив ее на поляне в перевернутом виде в качестве декоративного элемента. Идея прикрепить к пню табличку в память о репрессиро-

ванных и таким образом превратить его в памятник возникла через несколько лет у уроженца поселка, проживавшего в соседнем поселке Дубитель. Впоследствии памятник получил известность, в том числе международную, благодаря местному журналисту Е. Е. Резепову:

– Тут у моего младшего шурина в 1988 году, по-моему, собрались тут молодые мужики, парни, начали нырять. Глубина метров пять была в то время. Нашли дуб, решили достать. Веревку привязали, дёргали. Никак не получается. Машину пригнали и вытащили этот дуб. Ну что теперь с ним делать? Отпилили корни. Что делать? Давай посадим ветку для красоты. Посадили. И через два-три года Фокин Владимир Иванович, дубительский ваш, придумал, что это памятник и табличку повесил. Резепов начал сюда ездить, со всех каналов телевидения начали сюда ездить, центральные московские каналы, все по-своему писали. Ну, это было давно. Сейчас уже перестали ездить, перестали писать. Надело уже. Вы тоже можете что-то написать. И вот потом это оказалось памятником. А репрессированных тут практически не было.

В рассказе обращают на себя внимание, во-первых, стремление дистанцироваться от медийных нарративов как не заслуживающих доверия («все по-своему писали») в аспекте отнесения раскулаченных к категории жертв политических репрессий; во-вторых, попытка представить превращение дуба в мемориальный объект в качестве личной инициативы В. И. Фокина; в-третьих, датировка памятника периодом перестройки. В опубликованном РИА Новости интервью В. И. Фокина, который проживал в Дубителе и от общения с участниками экспедиции отказался, упоминаются «доперестроечные» годы, а в «Известиях» – «времена андроповского правления»: «И хотя само существование “позорного” поселка районные чиновники тщательно скрывали, прослышав про дуб... пригнали из Zubовой Поляны автокран, чтобы выкорчевать памятник. Но дикинцы настолько глубоко и сильно утрамбовали свой дуб, что машина так и не смогла вытянуть его из земли. Чтобы

чиновники больше не домогались, потому что дезертиров заказали в столице стальную табличку с гравировкой...»⁴.

В свою очередь, Е. Е. Резепов, который положил начало медиатизации темы «Дикого поселка», опубликовав несколько очерков о нем в конце 1990-х гг. в региональной газете «Столица С», в беседе с авторами статьи утверждал, что вообще не рассматривал этот случай как историю выживания жертв массовых политических репрессий или иллюстрацию трагедии крестьянства в условиях коллективизации. Лесной «робинзонадой» он заинтересовался, работая над сюжетом о семье «отшельника», проживавшего по соседству. Как полагал эксперт, люди, переселившиеся из села «в лес», искали, с одной стороны, более высокого заработка по сравнению с колхозом, а с другой – «самостоятельной, вольной жизни» на природе, однако он отказывался считать их выбор вынужденным или видеть в нем какой-либо социальный протест:

– Воспринимать это как местечко, куда сбегали, прячась от коллективизации, – это неправильно. Тут у них выгода была, желание покуролесить, ещё что-то... Туда же зачем до самого последнего времени ездили и продолжают ехать? Вволю пострелять, вволю ещё что-то сделать, где тебя не поймают. На самом деле всё не то что прозаичнее, всё ещё интереснее.

По мнению Е. Е. Резепова, составившемуся из бесед с одним из основателей и неформальным лидером поселения И. Г. Фокиным, отцом В. И. Фокина, а также из архивных документов и интервью с сотрудниками правоохранительных органов, репутация «поселка дезертиров и браконьеров», сложившаяся у Круллого в Зубово-Полянском районе благодаря отзывам жителей соседних сел и, впоследствии, публикациям в традиционных и «новых» медиа, была оправданна лишь отчасти.

Главным источником средств к существованию для «дикинцев», по словам эксперта, являлись легальные лесные про-

мысли, продукты которых – мед, пушнину (мех куницы и барсука), мореный дуб из Вада, древесное корье для завода дубильных экстрактов – они сдавали в колхоз или государственным заготовителям, однако частично могли сбывать нелегально. При этом патриархальный семейный уклад позволял перекладывать основные тяготы натурального хозяйства на женщин, в то время как мужчины занимались охотой и рыбной ловлей, сплавом леса, организацией охотничьего досуга и отдыха «московских работников» (благодаря удачному расположению района в 400 км от Москвы) и торговлей. Поселок возник на месте охотничьей «дачи» – временного жилья в охотничьих угодьях уроженцев Журавкина.

Основные проблемные аспекты истории поселка, из-за которых Е. Е. Резепов не опубликовал большую часть собранных материалов, связаны с темами организованной преступности и дезертирства в Зубово-Полянском районе в 1930–1940-е гг. и причастности к ним «дикинцев». Эксперт говорил о «движении дезертиров», имея в виду массовость этого явления. Густой и относительно отдаленный от райцентра лесной массив привлекал «авантюристов», а в годы Великой Отечественной войны дезертиров из соседних поселений – п. Крутец, с. Мордовская Поляна и т. д., которые скрывались здесь поодиночке или собирались в банды, грабившие и убивавшие местное население. Самую известную в районе в годы войны и вскоре после нее «банду Фуры», которую упомянул и житель поселка в интервью в ходе нашей экспедиции, возглавляли уроженцы Мордовской Поляны, которые убивали представителей власти из мест.

Часть жителей «Дикого поселка», по словам эксперта, сама страдала от грабежей, другая же часть поддерживала дезертиров и бандитов вынужденно или из-за родственных связей. При этом большинство мужчин призывного возраста из поселка в годы войны находились на фронте, в том числе основатель И. Г. Фокин, который воевал, попал в плен, а после освобождения и фильтрационного лагеря вернулся домой. Как вспоминал его сын

⁴ Деревня дезертиров. URL: <https://iz.ru/news/283460> (дата обращения: 08.08.2022).

в беседе с журналистом, поскольку отец числился пропавшим без вести, власти оказывали давление на их семью, подозревая, что он тоже дезертировал и скрывается поблизости. Тем не менее Е. Е. Резепов в целом охарактеризовал патриарха «Дикого поселка» как законопослушного человека и успешного предпринимателя, который «жил весьма благополучно и находился в весьма дружеских отношениях с местной властью, они его почитали».

Рассказ о сборе информации в ходе интервью с жителями «Дикого поселка» в 1996–1998 гг., публикациях на ее основе, их дальнейшем обсуждении и интерпретации в средствах массовой информации эксперт завершил выводом о невозможности представить детальное объективное описание истории поселка. Причины этого – множественность интерпретаций, исходивших от жителей, включая членов одной семьи, их склонность изменять отношение к описываемым событиям со временем или в качестве реакции на резонансные публикации, закрытость местного сообщества и осознанное манипулирование информацией со стороны его членов.

В качестве примера журналист привел отзыв французского режиссера Л. Товена, в течение ряда лет снимавшего в поселке на средства франко-российской некоммерческой организации документальный фильм «Мираж русской деревни» (2011). Режиссер представил французской и российской зрительским аудиториям разные версии фильма, так как считал информацию, полученную от местных жителей, неполной и неточной. Заметив, что информанты в процессе интервью переходили на мокша-мордовский язык, общаясь друг с другом, Л. Товен заказал перевод этих фрагментов транскрипта и пришел к выводу, что ему «морочили голову», преподнося сознательно искаженную версию семейных преданий, отличную от предназначенной «для своих».

Тем не менее основная причина разочарования Л. Товена в собственном фильме заключалась, по словам эксперта, в его

неудачной первоначальной концепции – хроники гибели российской деревни, так как поселок не прекратил свое существование, а превратился в место отдыха для «москвичей» и других приезжих:

– Он хотел снять фильм, как последний житель покинет посёлок, как сядет в лодку, перекрестится, и всё. А вместо этого там стали покупать землю, строить коттеджи, и Люк был разочарован: у него не получилось снять фильм с трагическим финалом. Финал более жизненный. Дуб зеленеет.

Символом первоначального трагического замысла служил центральный образ картины – памятник репрессированным предкам в виде мореного дуба с вывернутыми из земли корнями, который оператор снимал снизу, камерой, установленной у его основания или в специальной яме. В роли ключевых информантов и спикеров коллективной травмы в фильме выступали В. И. Фокин, постоянно проживавший в Дубителе, и его тетка «баба Нюра», со слов родителей рассказывавшая о том, как раскулаченные, у которых отобрали домашний скот и личные вещи, включая расшитые женские рубашки и платки, вынуждены были выживать в лесу. На этот же сюжет и с теми же информантами была опубликована затем статья агентства РИА Новости⁵.

Наряду с изменением функций поселения журналист также обратил внимание на трансформацию зафиксированного им коллективного нарратива – «устоявшегося разговора» жителей поселка о своем прошлом – в результате его медиатизации и осознания связанного с этим изменения границ публичного и приватного в семейных историях. Основным фактором трансформации, по мнению эксперта, послужила цифровая среда, в которой фрагменты данного нарратива стали интерпретироваться и использоваться разными медийными агентами и в различных целях.

Наиболее достоверными представляются датировка сооружения памятника 1988–1991 гг. и характеристика этого процесса как поэтапного, в котором придание

⁵ См.: Косова Е. Указ. соч. URL: <https://ria.ru/20121108/910074652.html> (дата обращения: 08.08.2022).

мемориального смысла отделяется по времени от установки пня как материально-го объекта в общественном пространстве. Напротив, версия журналистов о попытке властей уничтожить объект, не имеющий видимого символического значения, и отказе от нее после установки мемориальной таблички с надписью провокационного в тот период содержания не заслуживает доверия.

Размеры и форма дубового пня допускают различное его использование, в том числе утилитарное, например в качестве основания для столешницы, а внешний вид сам по себе не свидетельствует о мемориальном назначении объекта. Мемориальную функцию ему придает именно табличка, причисляющая раскулаченных крестьян к репрессированным, установка которой является актом публичной коммеморации, которая могла быть одобрена общественным мнением не раньше периода перестройки.

Характерно, что Е. Е. Резепов, считающий, что перевернутый дуб был установлен на поляне во время гулянки «для потехи», никогда не придавал этому мемориальному объекту того доминирующего с точки зрения социальной идентичности поселка значения, которое он получил в нарративе печатных и электронных медиа 2000-х гг. Эксперт подтвердил информацию респондента о том, что мемориальную табличку заказал и прикрепил к дубу В. И. Фокин вместе со своим другом по личной инициативе, а не по поручению жителей поселка, воспринимавших его действия без особых эмоций.

С точки зрения журналиста, популяризация нарратива о народном мемориале связана с деятельностью С. Оленина – жителя райцентра, создавшего любительский краеведческий сайт «Зубова Поляна»⁶. Пользуясь возможностями «новых медиа», С. Оленин стал размещать на нем собственные компиляции различных материалов, включая фрагменты очерков Е. Е. Резепова, без указания на источники, комментируя и интерпретируя их по своему усмотрению. Благодаря этому сайту

⁶См.: Зубова Поляна: ист.-этногр. сайт. URL: www.zubova-poliana.narod.ru.

тема «Дикого поселка» привлекла внимание российских журналистов за пределами Мордовии, которые стали авторами новых текстов о «деревне дезертиров» и коммеморации в ней жертв массовых политических репрессий.

Как видим, основным инициатором процесса культурной травмы репрессий в «Диком» и ее спикером стал местный уроженец, сын основателя поселка В. И. Фокин, однако ее медиатизация в целом оказалась связана с востребованностью этой темы федеральными СМИ. По утверждению эксперта, В. И. Фокин к жертвам репрессий относил своего отца, подвергнутого проверке в фильтрационном лагере после освобождения из плена, и других членов семьи, а также некоторых соседей, по его мнению, незаконно арестованных, однако данные об их реабилитации не приводил.

В данном случае заслуживают внимания обстоятельства конструирования культурной травмы массовых репрессий и возможные факторы ее определения ключевыми спикерами – В. И. Фокиным и его родственницей. Как уже отмечалось, отец и другие мужчины из числа старшего поколения «дикинцев» производили на эксперта впечатление людей, довольных своим образом жизни, в то время как жизнь женщин, выполнявших основную работу по хозяйству, была гораздо тяжелее.

Можно не сомневаться в вынужденном характере смены занятий и места жительства основателей поселка. В результате коллективизации они не могли больше заниматься в родном селе ни традиционным сельским хозяйством, совмещенным с лесными промыслами, ни предпринимательской деятельностью, освоенной в период НЭПа, который И. Г. Фокин, по словам эксперта, считал лучшим временем своей жизни. Эта стратегия отвечала универсальной для истории крестьянства установке на «неподвластность» – минимизацию обязательств по отношению к государству. В то же время она представляла собой не попытку скрыться от советской власти или вступить в конфронтацию с ней, а форму аккомодации, предполагавшей партнерство, хотя и зависимое, и

обеспечивала относительно свободное и материально обеспеченное существование в новых условиях.

Такую стратегию следует рассматривать в качестве одной из форм социальной адаптации семей раскулаченных крестьян, часто выбиравших несельскохозяйственные занятия. В Zubovo-Polyanskом районе кроме индивидуальных лесных промыслов это чаще всего была официальная занятость на лесозаготовках, в лесничествах, на железной дороге или многочисленных промышленных предприятиях по переработке сырья, создававшихся в советский период вместе с поселками городского типа. Упадок данных отраслей промышленности в период экономических реформ 1990-х гг. снова резко изменил образ жизни местного населения и запомнился в качестве одного из аспектов «постсоветской травмы».

Указанные события не могли не затронуть В. И. Фокина, который на момент извлечения со дна реки дуба, получившего впоследствии известность благодаря ему, сделал свой выбор относительно места жительства и работы в пользу соседнего относительно благоустроенного поселка городского типа Дубитель. Градообразующим предприятием здесь был завод по производству дубильных экстрактов, уже в период перестройки оказавшийся на грани закрытия и впоследствии обанкротившийся. Именно осознание отсутствия перспектив и у Дубителя, и у советского проекта в целом могло способствовать переосмыслению и ретравматизации событий, связанных с основанием их поселка среди потомков «дикинцев», включая публичное выражение скорби по жертвам советских репрессий, в которых они увидели причину последующих исторических травм.

Отдельного внимания заслуживает медиатизация, придавшая всероссийскую, а затем мировую известность памятованию жертв массовых репрессий в Круглом. Журналисты наряду с инициаторами установки мемориальной таблички могут рассматриваться в качестве мнемонических

акторов и соавторов нарратива, связанного с этой коммеморацией, по меньшей мере по двум причинам: именно СМИ транслировали его в качестве единодушного послания уроженцев поселка, игнорируя альтернативные интерпретации, и придали ему обобщенный смысл символа судьбы российского крестьянства.

Как следует из данных наблюдения, в процессе конструирования культурной травмы участвовали не все жители поселка: респондент подавал коммеморацию как личную инициативу одного из его уроженцев и отметил, что ему надоело внимание журналистов к памятнику. Газетные публикации начала 2000-х гг. также показывали различное отношение к политике советской власти среди пятнадцати на тот момент постоянных жителей поселка, среди которых в советский период были члены КПСС. Один из них на прямой вопрос корреспондента «Труда» ответил, что если бы он жил в период коллективизации, то вступил бы в колхоз «и всё бы отдал»⁷.

Таким образом, в рассматриваемом случае местное сообщество является источником не гомогенной «второй памяти», а, как минимум, двух различных коллективных нарративов, медиатизированных со ссылками на представителей разных поколений одной и той же семьи. Основные разногласия между ними заключаются в наличии или отсутствии (само)идентификации жертвы массовых политических репрессий, а также дистанцирования от организованной преступности 1930–1940-х гг.

Первый нарратив, изложенный в начале XXI в. журналистам российских изданий и французскому режиссеру Л. Товену уроженцем поселка В. И. Фокиным, одним из двух инициаторов превращения дубового пня в мемориальный объект, и поддержанный его родственницей, характеризуется виктимизацией местного сообщества в качестве жертвы коллективизации, раскулачивания и незаконных уголовных преследований и частичной романтизацией девиантных практик как «социального бандитизма» в форме сравнения главаря

⁷ Карпов В. Указ. соч. URL: https://www.trud.ru/article/22-07-2004/74729_dikaja_derevnja.html (дата обращения: 08.08.2022).

банды Фуры с Робин Гудом. Детали этого рассказа изменяются со временем. Так, основной спикер В. И. Фокин вначале рассказывал Е. Е. Резепову, как и другим журналистам, что районные власти пытались демонтировать памятник репрессированным при помощи подъемного крана, а в интервью РИА Новости 2012 г. утверждал, что они лишь угрожали «трактор подогнать и выдернуть»⁸. Действительно, транспортировка подъемного крана по грунтовым дорогам и лесной тропе вряд ли возможна.

В публикациях федеральных СМИ 2000-х гг. данный нарратив трансформируется в описание истории «непризнанного» поселка как непрерывного конфликта с властями, стремившимися если не ликвидировать, то скрыть его существование, а романтизация делинквентных практик граничит с их оправданием в качестве своего рода социального протеста. Так, корреспонденту газеты «Известия» местная жительница в качестве спикера коллективной травмы говорила: «Фура все по лесам прятался. Да, было дело, разбойничал в чащах. Но нападало на богатых, тех, кто только прикрывался высокими чинами. Они сами людей обирали, добро делили, а мужей да отцов наших стреляли как дезертиров. Как-то засаду в лесу милиция устроила, 15 наших мужиков положила»⁹. В статье РИА Новости значительную часть текста составляет описание в качестве исторического фона убийств представителей советской власти в ходе крестьянских восстаний в Мордовии во время коллективизации, хотя основатели поселка в этих восстаниях не участвовали¹⁰.

По наблюдению эксперта, со временем образ «Дикого поселка» как маргинального «другого», сконструированный федеральными медиа, стал вызывать отторжение местного сообщества. Ознакомившись с последствиями процесса медиатизации истории поселка и убедившись, что они утратили над ним контроль, потомки «дикинцев», успешно обосно-

вавшиеся в Подмоскowie, Москве и других крупных городах, стали требовать опровержения или отзыва публикаций как порочащих репутацию их семей. Например, скандальную известность получила приведенная в статье «Известий» история дезертира, обнаруженного сотрудниками НКВД под «навозной кучей», – упомянутый в ней житель поселка впоследствии был отправлен на фронт, прошел всю войну и имел боевые награды.

Во втором нарративе, зафиксированном авторами в ходе экспедиции, в беседе с экспертом и его журналистских публикациях, статус «поселка репрессированных» отрицается, а образ жизни первого поколения жителей характеризуется как альтернативный в сравнении с большинством, но в целом не девиантный. При этом и респондент, и эксперт, утверждая, что в поселке «репрессированных практически не было» или было не больше, чем «в других посёлках нашей страны в процентном отношении», очевидно, имели в виду жертв «массовых операций» НКВД 1937–1938 гг., исходя из принятой в советский период концепции, а не из Закона Российской Федерации от 18.10.1991 № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий», включившего в эту категорию раскулаченных крестьян.

Предположение, что первый нарратив предназначен для «своих», а второй – для посторонних, опровергается информацией эксперта, установившего доверительные отношения с основателем поселка И. Г. Фокиным, со слов которого, дезертиров поддерживала лишь часть его обитателей, остальные же были заинтересованы в «дружеских» отношениях с властями в качестве условия своей хозяйственной деятельности.

В очерках Е. Е. Резепова о поселке, отразивших спрос на криминальную тематику в конце XX в., тема трагической судьбы крестьянства присутствует постоянно. Однако она представлена одной-двумя фразами и составляет лишь часть фона для захватывающих сюжетов и неординарных

⁸ Карпов В. Указ. соч. URL: https://www.trud.ru/article/22-07-2004/74729_dikaja_derevnja.html (дата обращения: 08.08.2022).

⁹ Деревня дезертиров. URL: <https://iz.ru/news/283460> (дата обращения: 08.08.2022).

¹⁰ См.: Косова Е. Указ. соч. URL: <https://ria.ru/20121108/910074652.html> (дата обращения 08.08.2022).

судеб героев наряду с местными нравами и гендерными отношениями: «Поселок Дикий жил отдельно с государством. Почти в каждой семье был один или два дезертира, и все они потом с благодарностью относились к женщинам, которые поддерживали их в долгие годы скитаний по лесам. Только будучи сильно пьяными, они по-прежнему били их, но, памятуя о заслугах, старались не по лицу, а по животу или спине...»¹¹.

В целом можно заключить, что и в очерках, и в беседе с авторами эксперт описывает поселок и его окрестности как экзотический «Дикий Запад» Мордовии – место добровольно избранной «дикой, вольной жизни», где царили «нравы, как в вестерне»: «Это мы сейчас идем по замерзшему болоту, опасаясь только слишком тонкого льда или трещины, а раньше, лет 30–40 назад, можно было получить в спину заряд картечи. ... Болота были поделены между местными жителями, словно золотоносные участки...»¹².

Уроженцев поселка отличал особый «дикий» характер, включавший такие черты, как независимость, стойкость в трудной ситуации, сплоченность, предпримчивость.

Заключение

Таким образом, история памятника жертвам массовых политических репрессий в п. Круглом представляет собой пример социального конструирования культурной травмы и связанного с ней символического «места памяти» усилиями нескольких социальных агентов, основная роль в котором принадлежит представителям СМИ в качестве источника, транслятора и генерализатора смыслов культурной травмы.

В процессе конструирования памятника следует различать такие стадии, как создание материального объекта, придание ему социального смысла и функций «места памяти» посредством установки мемориальной таблички, медиатизация, расширившая этот смысл до общероссийского

символа. Первоначально мотивы жителей села, установивших пень мореного дуба на видном месте, не имели отношения к коммеморации репрессий. Однако позднее этот объект получил дополнительный мемориальный смысл и широкую известность по инициативе представителей нового поколения, покинувших поселок и воспринимавших жизнь в нем как травму «выживания» на основе изменившихся социальных предпочтений, новой информации и стандартов оценки, почерпнутых из перестроечной публицистики.

В настоящее время коммеморация жертв репрессий, связанная с памятником, носит в большей степени медийный, чем локальный характер. Благодаря традиционным и новым СМИ и кинодокументалистике масштаб восприятия памятника как символического объекта медийной аудиторией несравним с количеством жителей поселка и их потомков.

Наблюдение показало, что жители и уроженцы поселка не представляют собой группу с единым нарративом коллективной памяти и единым конвенциональным пониманием символического значения памятника. Придание необычному советскому прошлому поселка общественно-политического смысла является результатом медиатизации, при этом озвученные как средствами массовой информации, так и местными жителями в непосредственном общении идеи различны и изменяются по мере развития ситуации в России и регионе. Одновременно рассматриваемый случай демонстрирует пример медиатизации травмирующих событий прошлого в стилистике «вестерна», не связанной с процессом культурной травмы.

На уровне дискурса местных жителей также прослеживаются по крайней мере две разные модели нарративизации истории поселка, из которых определению культурной травмы как «дискурсивного процесса, обусловленного дихотомией между преступником и жертвой» в модальности обвинения соответствует

¹¹ Резепов Е. Е. Жена дезертира. URL: www.zubova-poliana.narod.ru/me-ocherk-jena-dezertira.htm (дата обращения: 08.08.2022).

¹² Резепов Е. Е. Отшельник // Русский мир. 2009. № 2. URL: <https://rusmir.media/2009/02/01/otshelnik> (дата обращения: 08.08.2022).

только одна. Примечательно, что эта виктимная модель отражает влияние широкого социально-исторического контекста, включая ситуацию в регионе и дискуссии о судьбе крестьянства в период перестройки. Одновременно жители поселка используют в своих рассказах о его прошлом альтернативную интерпретативную модель девиктимизации.

Обе мнемонические конструкции являются предметом выбора для членов

«сообщества памяти» и, с нашей точки зрения, соответствуют двум различным моделям «проработки» социальной травмы – «терапевтической», сфокусированной на аспектах лишений и утраты групповой идентичности, и «макроисторической», основанной на интерпретации травмы как аспекта социальных трансформаций, процесс которых содержит собственные предпосылки для ее «проработки».

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Александер Дж. Культурная травма и коллективная идентичность // Социологический журнал. 2012. № 3. С. 6–40. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18024344> (дата обращения: 08.08.2022).
2. Ассман А. Забвение истории – одержимость историей / пер. с нем. Б. Хлебникова. М.: Новое лит. обозрение, 2019. 552 с.
3. Ван Дейк Т. А. Дискурс и власть: Репрезентация доминирования в языке и коммуникации. М.: Кн. дом «ЛИБРОКОМ», 2013. 344 с.
4. Всё в прошлом: Теория и практика публичной истории / под ред. А. Завадского, В. Дубиной. М.: Новое изд-во, 2021. 448 с. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47958255&selid=48315658> (дата обращения: 08.08.2022).
5. Гирц К. «Насыщенное описание»: в поисках интерпретативной теории культуры // Антология исследований культуры. Т. 1. Интерпретации культуры. СПб., 1997. С. 171–200.
6. Зерубавель Я. Динамика коллективной памяти // Ab Imperio. 2004. № 3. С. 71–90. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17968300> (дата обращения: 08.08.2022).
7. Кобылин И. И., Николаи Ф. В. Переопределяя границы сообщества: культурная память, травма, биополитика // История и историческая память: межвуз. сб. науч. тр. Саратов, 2014. Вып. 9. С. 90–103. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23794690> (дата обращения: 08.08.2022).
8. Нора П. Между памятью и историей: проблематика мест памяти // Франция-память / П. Нора и др. СПб., 1999. С. 17–50.
9. Рязанова С. В., Гободо-Мадикизела П. Травма как наследство: опыт восприятия верующих // Научный результат. Социология и управление. 2020. Т. 6, № 3. С. 49–66. DOI: 10.18413/2408-9338-2020-6-3-0-3.
10. Сафронова Ю. А. В плену нарративных шаблонов? // Историческая экспертиза. 2021. № 3. С. 76–80. DOI: 10.31754/2409-6105-2021-3-76-80.
11. Травма: пункты: сб. ст. / под ред. С. Ушакина и Е. Трубиной. М.: Новое лит. обозрение, 2009. 934 с.
12. Хальбвакс М. Социальные рамки памяти / пер. с фр. и вступ. ст. С. Н. Зенкина. М.: Новое изд-во, 2007. 346 с.
13. Эрлих С. Е. «Методологический национализм», «вторая память» и «цена прогресса» // Историческая экспертиза. 2017. № 3. С. 31–48. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32537171> (дата обращения: 08.08.2022).
14. Юдин Г. Б. Вопрос доклада и доклад как вопрос (вводная заметка) // Историческая экспертиза. 2017. № 3. С. 27–30. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32537170> (дата обращения: 08.08.2022).
15. Bevernage B. Cleaning up the mess of Empire? Evidence, time and memory in 'Historic Justice' cases concerning the former British Empire (2000–Present) // A dialogue between law and history. Proceedings of the Second International conference on facts and

- evidence. Singapore, 2021. P. 231–252. DOI: 10.1007/978-981-15-9685-8_13.
16. Bevernage B. Narrating pasts for peace? A critical analysis of some recent initiatives of historical reconciliation through ‘Historical Dialogue’ and ‘Shared History’ // *The ethos of history: time and responsibility*. New York; Oxford, 2018. P. 70–93. DOI: 10.2307/j.ctvw04kkp.8.
 17. Bevernage B., Wouters N. *The palgrave handbook of state-sponsored history after 1945*. London: Palgrave Macmillan, 2018. 877 p. DOI: 10.1057/978-1-349-95306-6.
 18. Bogumil Z. *Gulag memories: the rediscovery and commemoration of Russia's repressive past*. New York; Oxford: Berghahn Books, 2018. 238 p. DOI: 10.1515/9781785339288.
 19. Bogumil Z., Moran D., Harrowell E. Sacred or secular? ‘Memorial’, the Russian Orthodox Church, and the contested commemoration of Soviet repressions // *Europe-Asia Studies*. 2015. Vol. 67, no. 9. P. 1416–1444. DOI: 10.1080/09668136.2015.1085962.
 20. *Cultural trauma and collective identity* / J. C. Alexander, R. Eyerman, B. Giesen, N. J. Smelser, P. Sztompka. Berkeley: University of California Press, 2004. 314 p.
 21. Erll A. Travelling narratives in ecologies of trauma: an Odyssey for memory scholars // *Social Research: An International Quarterly*. 2020. Vol. 87, no. 3. P. 533–563. DOI: 10.1353/sor.2020.0053.
 22. Eyerman R. Cultural trauma and the transmission of traumatic experience // *Social Research: An International Quarterly*. 2020. Vol. 87, no. 3. P. 679–705. DOI: 10.1353/sor.2020.0058.
 23. Hubbell A. L., Akagawa N., Rojas-Lizana S., Pohlman A. *Places of traumatic memory: A global context*. Cham: Palgrave Macmillan, 2022. 320 p. DOI: 10.1007/978-3-030-52056-4.
 24. Khlevnyuk D. “Silencing” or “Magnifying” memories? Stalin’s repressions and the 1990s in Russian museums // *Problems of Post-Communism*. 2021. P. 1–10. DOI: 10.1080/10758216.2021.1983443.
 25. Koleva D. *Memory archipelago of the Communist past. Public narratives and personal recollections*. Cham: Palgrave Macmillan, 2022. 296 p. DOI: 10.1007/978-3-031-04658-2.
 26. Lewis S., Wawrzyniak J., Olick J., Pakier M. *Regions of memory. transnational formations*. Cham: Palgrave Macmillan, 2022. 239 p. DOI: 10.1007/978-3-030-93705-8.
 27. Narsky I. *Family memory and private archives in the Soviet twentieth century* // *Annales. Histoire, Sciences Sociales – English edition*. 2013. Vol. 68, issue 2. P. 327–355. DOI: 10.1017/S239856820000025X.
 28. Simko C. Marking time in memorials and museums of terror: temporality and cultural trauma // *Sociological Theory*. 2020. Vol. 38, no. 1. P. 51–77. DOI: 10.1177/0735275120906430.
 29. Simko C., Olick J. K. Between trauma and tragedy // *Social Research: An International Quarterly*. 2020. Vol. 87, no. 3. P. 651–676. DOI: 10.1353/sor.2020.0057.

Поступила 09.07.2022; одобрена 18.08.2022; принята 29.09.2022.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

О. А. Богатова – доктор социологических наук, профессор кафедры социологии и социальной работы Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарёва, bogatovaoa@gmail.com, <http://orcid.org/0000-0001-5877-7910>

А. В. Митрофанова – доктор политических наук, профессор, ведущий научный сотрудник отдела исследования социально-политических отношений Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, профессор Департамента политологии Финансового университета Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, avmitrofanova@fa.ru, <http://orcid.org/0000-0003-4123-0550>

С. В. Рязанова – доктор философских наук, ведущий научный сотрудник отдела по исследованию политических институтов и процессов Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения РАН, svet-ryazanova@yandex.ru, <http://orcid.org/0000-0001-5387-9387>



A Mordovian settlement as a site and community of historical memory: collective narratives and representations

Olga A. Bogatova

*National Research Mordovia State University,
Saransk, Russia*

Anastasia V. Mitrofanova

*Institute of Sociology, Branch of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology,
Russian Academy of Sciences,
Financial University under the Government of the Russian Federation,
Moscow, Russia*

Svetlana V. Riazanova

*Perm Federal Research Center, Ural Branch of Russian Academy of Sciences,
Perm, Russia*

Introduction. The article summarizes the results of a study of social practices and narratives of the commemoration of the victims of mass political repression in the village of Kruglyi (the Republic of Mordovia) that was established as a permanent settlement in the period of collectivization.

Materials and Methods. The theoretical framework of the study consists of social theories of “memory sites” and collective trauma. The method of collecting empirical data corresponded to case study, including observation, in-depth interviews and discourse analysis of media publications. The data were analyzed using the methods of thick ethnographic description and narrative discourse analysis.

Results and Discussion. The article reviews the social context of local commemoration; identifies the main stages and practices of creating a “place of memory” in the village of Kruglyi by constructing a self-made monument of stained oak with a memorial plaque, and its subsequent mediatization. The authors analyze local discourses and narratives of social memory and material aspects of commemoration; regional, identify national and international mnemonic actors, acting as agents of the process of cultural trauma. They reveal and interpret the content of competing narratives of victimization and devictimization of the local community.

Conclusion. Based on the data obtained in the course of fieldwork, the authors deconstruct media of the history of the village and identify two different models of its description. They conclude that these models are conditioned by various models of commemorating social trauma: one is “therapeutic”, focused more on deprivation and the loss of group identity; another one is “macrohistoric”, or in other words based on interpreting trauma as an aspect of social transformation seen as a process containing prerequisites for working the trauma out.

Keywords: “place of memory”, historical memory, social trauma, cultural trauma, thick description, social memory, commemoration, “community of memory”

For citation: Bogatova OA, Mitrofanova AV, Riazanova SV. A Mordovian settlement as a site and community of historical memory: collective narratives and representations. *Finno-ugorskii mir* = Finno-Ugric World. 2022;14;4:402–417. (In Russ.). DOI: 10.15507/2076-2577.014.2022.04.402-417.

REFERENCES

- Alexander JC. Cultural trauma and collective identity. *Sotsiologicheskii zhurnal* = Sociological Journal. 2012;3:6–40. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18024344> (accessed 08:08.2022). (In Russ.)
- Assmann A. Oblivion of history – Obsession with history. Moscow; 2019. (In Russ.)
- Van Dijk TA. Discourse and Power. Moscow; 2013. (In Russ.)
- Zavadskii A, Dubina V, eds. Everything is in the past: The theory and practice of public history. Moscow; 2021. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47958255&selid=48315658> (accessed 08:08.2022). (In Russ.)
- Geertz C. Thick descriptions toward an interpretive theory of culture. *Antologiya issledovaniia kul'tury. T. 1. Interpretatsii kul'tury* = Anthology of Cultural Studies. Saint-Petersburg; 1997;1:171–200. (In Russ.)
- Zerubavel Ya. The dynamics of collective remembering. *Ab Imperio* = Ab Imperio. 2004;3:71–90. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17968300> (accessed 08:08.2022). (In Russ.)
- Kobylin II, Nicolai FV. The redefining of the borders of community: cultural memory, trauma, biopolitics. *Istoriia i istoricheskaia pamiat': mezhvuz. sb. nauch. tr.* = History and historical memory. In-

- teruniversity collection of scientific papers. Saratov; 2014;9:90–103. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23794690> (accessed 08:08.2022). (In Russ.)
8. Nora P. Between memory and history: the problems of places of memory. *Frantsiia-pamiat'* = France-memory. Saint-Petersburg; 1999:17–50. (In Russ.)
 9. Ryazanova SV, Gobodo-Madikizela P. Trauma as a heritage: the experience of believer's perception. *Nauchnyi rezul'tat. Sotsiologiya i upravlenie* = Research Result. Sociology and management. 2020;6;3:49–66. DOI: 10.18413/2408-9338-2020-6-3-0-3. (In Russ.)
 10. Safronova YuA. Trapped in the narrative templates? *Istoricheskaia ekspertiza* = Historical expertise. 2021;3:76–80. (In Russ.). DOI: 10.31754/2409-6105-2021-3-76-80.
 11. Ushakin S, Trubina E, eds. Trauma: Points. Collection of articles. Moscow; 2009. (In Russ.)
 12. Halbwachs M. On collective memory. Moscow; 2007. (In Russ.)
 13. Ehrlich SE. "Methodological nationalism", "The second memory" and "Price of the progress". *Istoricheskaia ekspertiza* = Historical expertise. 2017;3:31–48. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32537171> (accessed 08:08.2022). (In Russ.)
 14. Yudin GB. The question of the report and the report as a question (introductory note). *Istoricheskaia ekspertiza* = Historical expertise. 2017;3:27–30. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32537170> (accessed 08:08.2022). (In Russ.)
 15. Bevernage B. Cleaning up the mess of Empire? Evidence, time and memory in 'Historic Justice' cases concerning the former British Empire (2000–Present). *A dialogue between law and history. Proceedings of the Second International conference on facts and evidence*. Singapore; 2021:231–252. DOI: 10.1007/978-981-15-9685-8_13.
 16. Bevernage B. Narrating pasts for peace? A critical analysis of some recent initiatives of historical reconciliation through 'Historical Dialogue' and 'Shared History'. *The ethos of history: time and responsibility*. New York; Oxford; 2018:70–93. DOI: 10.2307/j.ctvw04kkp.8.
 17. Bevernage B, Wouters N. The palgrave handbook of state-sponsored history after 1945. London; 2018. DOI: 10.1057/978-1-349-95306-6.
 18. Bogumil Z. Gulag memories: the rediscovery and commemoration of Russia's repressive past. New York; Oxford; 2018. DOI: 10.1515/9781785339288.
 19. Bogumil Z, Moran D, Harrowell E. Sacred or secular? 'Memorial', the Russian Orthodox Church, and the contested commemoration of Soviet repressions. *Europe-Asia Studies*. 2015;67;9:1416–1444. DOI: 10.1080/09668136.2015.1085962.
 20. Alexander JC, Eyerman R, Giesen B, Smelser NJ, Sztompka P. Cultural trauma and collective identity. Berkeley; 2004.
 21. Erll A. Travelling narratives in ecologies of trauma: an Odyssey for memory scholars. *Social Research: An International Quarterly*. 2020;87;3:533–563. DOI: 10.1353/sor.2020.0053.
 22. Eyerman R. Cultural trauma and the transmission of traumatic experience. *Social Research: An International Quarterly*. 2020;87;3:679–705. DOI: 10.1353/sor.2020.0058.
 23. Hubbell AL, Akagawa N, Rojas-Lizana S, Pohlman A. Places of traumatic memory: A global context. Cham; 2022. DOI: 10.1007/978-3-030-52056-4.
 24. Khlevnyuk D. "Silencing" or "Magnifying" memories? Stalin's repressions and the 1990s in Russian museums. *Problems of Post-Communism*. 2021:1–10. DOI: 10.1080/10758216.2021.1983443.
 25. Koleva D. Memory archipelago of the Communist past. Public narratives and personal recollections. Cham; 2022. DOI: 10.1007/978-3-031-04658-2.
 26. Lewis S, Wawrzyniak J, Olick J, Pakier M. Regions of memory, transnational formations. Cham; 2022. DOI: 10.1007/978-3-030-93705-8.
 27. Narsky I. Family memory and private archives in the Soviet twentieth century. *Annales. Histoire, Sciences Sociales – English edition*. 2013;68;2:327–355. DOI: 10.1017/S239856820000025X.
 28. Simko C. Marking time in memorials and museums of terror: temporality and cultural trauma. *Sociological Theory*. 2020;38;1:51–77. DOI: 10.1177/0735275120906430.
 29. Simko C, Olick JK. Between trauma and tragedy. *Social Research: An International Quarterly*. 2020;87;3:651–676. DOI: 10.1353/sor.2020.0057.

Submitted 09.07.2022; reviewing 18.08.2022; accepted 29.09.2022.

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

O. A. Bogatova – Doctor of Sociology, Professor, Department of Sociology and Social Work, National Research Mordovia State University, bogatovaoa@gmail.com, <http://orcid.org/0000-0001-5877-7910>

A. V. Mitrofanova – Doctor of Political Science, Professor, Leading Researcher, Department of the Research of Socio-Political Relations, Institute of Sociology, Branch of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology, the Russian Academy of Sciences, Department of Political Science, Financial University under the Government of the Russian Federation, avmitrofanova@fa.ru, <http://orcid.org/0000-0003-4123-0550>

S. V. Riazanova – Doctor of Philosophy, Leading Researcher, Department for the Study of Political Institutions and Processes, Perm Federal Research Center, Ural Branch of Russian Academy of Sciences, svet-ryazanova@yandex.ru, <http://orcid.org/0000-0001-5387-9387>